

Когда строилась Китайская стена. Франц Кафка

Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Строители продвигались с юго-востока и юго-запада и здесь соединились. Такую систему строительства по частям применяли и в малых масштабах внутри двух больших рабочих армий, восточной и западной. Осуществлялось это следующим образом: образовывались отряды примерно по двадцать рабочих, каждый из которых должен был возвести часть стены длиной около пятисот метров, в то время как соседний отряд строил стену той же длины навстречу первому. Но затем, после того как происходила стыковка, строительство не продолжалось на каком-то из концов этой тысячеметровой стены, а рабочие отряды пересылались для возобновления работ в совершенно иные места. Естественно, что при таком методе возникали многочисленные большие бреши, которые лишь постепенно, медленно заполнялись (некоторые — даже после того, как уже было объявлено о завершении строительства стены). Более того, должны были остаться совершенно не застроенные бреши; впрочем, не исключено, что это утверждение — одна из тех многочисленных легенд, которые возникли вокруг строительства, и проверить это отдельному человеку с его человеческими глазами и масштабами невозможно ввиду протяженности строительства.

Ну, изначально предполагалось, что было бы во всех отношениях предпочтительнее возводить сплошную стену — по крайней мере, в пределах каждой из двух главных частей. Ведь стена, как об этом везде сообщается и как известно, предназначалась для защиты от северных народов. Но как же может защитить стена, которую выстроили не сплошной? Да такая стена не только не может защитить, но само ее строительство может навлекать постоянную опасность. Эти части стены, оставленные стоять в пустынных местностях, могут с легкостью снова и снова разрушаться кочевниками, тем более что тогда, напуганные строительством, они с непостижимой скоростью, как саранча, меняли места своего обитания и благодаря этому, возможно, имели лучшее представление о продвижении строительства, чем даже мы, ее создатели. Тем не менее строительство, очевидно, не могло вестись иначе, чем происходило. Чтобы это понять, нужно принять во внимание следующее: стена должна была стать защитой на века, поэтому необходимыми предпосылками выполнения работы были предельная тщательность возведения, использование достижений строительства всех известных времен и народов и непреходящее чувство личной ответственности строителей. И хотя на вспомогательных работах могли использоваться невежественные поденщики из народа: мужчины, женщины, дети — все, кто готов был наняться за хорошую оплату, — но уже для руководства четырьмя поденщиками требовался знающий человек, разбирающийся в строительном деле, — человек, способный до глубины души почувствовать, что здесь совершается. А чем значительнее участок работы, тем выше требования. И соответствующие люди действительно имелись — если и не в такой массе, какая могла быть брошена на подобную стройку, то все же — в значительном количестве.

Ведь к этой работе подошли отнюдь не легкомысленно. За пятьдесят лет до начала строительства по всему Китаю, который должен был быть охвачен стеной, строительное искусство, и в особенности ремесло каменщика, было объявлено высшей областью знания, и все прочее признавалось лишь постольку, поскольку имело какое-то отношение к строительству. Я еще очень хорошо помню, как мы, маленькие дети, едва научившиеся ходить, стояли в садике нашего учителя и должны были из маленьких камешков складывать некое подобие стены, как учитель, подхватив подол, налетал на эту стену, всю ее, естественно, опрокидывал и так упрекал нас за слабость нашей постройки, что мы с воем разбежались во все стороны и бежали к родителям. Крохотный эпизод, но показательный для духа времени.

Мне повезло: когда в двадцать лет я сдал высший экзамен в низшей школе, как раз началось строительство стены. Я говорю «повезло», потому что многие из тех, кто достиг высшей доступной им ступени образования раньше, годами не могли найти применения своим знаниям, без толку слонялись, вынашивая в головах планы великолепных построек, и в массовом порядке опускались. Однако те, которые в конце концов приходили на стройку начальниками строительных участков — пусть даже самого низшего ранга, — были действительно этого достойны. Встречались и такие каменщики, которые много размышляли об этом строительстве, которые не переставали о нем размышлять и с первого камня, опущенного ими в землю, уже утром чувствовали искривление стены. Но такими каменщиками — естественно, помимо стремления произвести основательнейшую работу — двигало и нетерпеливое желание увидеть, как эта постройка возникнет наконец во всем своем совершенстве (поденщик такого нетерпения не испытывает, им движет только заработок). Высшие — и даже средние — руководители в достаточной мере видят многосторонний рост стены и благодаря этому тоже сохраняют твердость духа. Но о низших, стоящих в духовном плане намного выше их внешне незначительных задач, нужно было как-то иначе позаботиться. Их, к примеру, нельзя было заставлять в какой-нибудь необитаемой горной местности, за сотни миль от родины, месяцами, а тем более — годами водружать камень на камень; безысходность такой прилежной, но даже за долгую человеческую жизнь не достигающей никакой цели работы приводила их в отчаяние и, главное, увеличивала их бесполезность. Поэтому была выбрана система строительства по частям. Пятьсот метров могли быть выложены примерно за пять лет, после чего, правда, руководители, как правило, оказывались совершенно без сил и теряли всякую веру в себя, в строительство и в этот мир. И вот когда они еще испытывали подъем после праздника стыковки тысячи метров стены, их посылали в дальние дали, и по дороге они видели, что здесь и там высются готовые части стены, проезжали через ставки высших начальников, которые одаривали их знаками отличия, слышали, как ликуют новые армии рабочих, стекавшихся из глубин страны, видели вырубленные леса, предназначенные для возведения лесов строительных, видели горы, разбитые на камни для стены, слышали в святых местах песнопения благочестивых, молившихся о завершении строительства. Все это умеряло их нетерпение. Спокойная жизнь родины, в объятиях которой они проводили некоторое время, укрепляла их, уважение, которым были окружены все строители, смиренное доверие, с которым выслушивались их рассказы, то, как простые мирные жители верили в будущее построение стены, — все это подтягивало их душевные струны. И тогда, как вечно надеющиеся дети, они прощались с родиной, потому что желание вновь участвовать в деле народа становилось непреодолимым. И они покидали свои дома раньше, чем требовалось, и половина деревни далеко уходила с ними, провожая их. А на всех дорогах — отряды, вымпелы, знамена; никогда раньше они не видели, как велика, богата, прекрасна и достойна любви их страна. Каждый крестьянин был братом, для которого строилась защитная стена и который всем, что он имел и чем он был, готов был благодарить за это всю свою жизнь. Единство! Единство! Грудь к груди, весь народ — в одной шеренге, кровь, уже не запертая в жалком круговороте тела, а сладостно струящаяся — и все-таки возвращающаяся через весь бесконечный Китай!

Таким образом, выбор системы строительства по частям становится понятен, но, по-видимому, для него все-таки были и иные причины. Нет, кстати, ничего удивительного в том, что я так долго задерживаюсь на этом вопросе, ведь это центральный вопрос всего строительства стены, каким бы малозначительным он ни казался на первый взгляд. И если я хочу передать и сделать понятными мысли

и переживания этого времени, то сколько бы я ни углублялся в рассмотрение как раз данного вопроса, оно все еще не будет достаточным и глубоким.

По-видимому, прежде всего следует все-таки отдать себе отчет в том, что осуществлявшиеся тогда работы мало в чем уступали строительству Вавилонской башни, в то время как в смысле богоугодности — во всяком случае, согласно человеческому расчету — представляли собой нечто прямо противоположное тому строительству. Я упоминаю об этом, поскольку во времена начала строительства один ученый написал книгу, в которой очень строго проводил это сопоставление. Он пытался в ней доказать, что строительство Вавилонской башни не достигло своей цели отнюдь не по тем причинам, которые всеми признаются, или что, по крайней мере, эти известные причины вовсе не из самых главных. Его доказательства состояли не только из сказаний и свидетельств, но он утверждал также, что самолично провел исследования на месте и обнаружил, что постройка рухнула — и должна была рухнуть — из-за слабости основания. Ну, в этом отношении наше время намного превосходит те, давно минувшие. У нас почти каждый образованный современник — профессиональный каменщик и в вопросах подведения оснований безупречен. Но ученый метил совсем не сюда; он утверждал, что только такая великая стена впервые за все время существования человечества создаст надежный фундамент для возведения новой вавилонской башни. То есть сначала — стена, а затем — башня. Эта книга ходила тогда по рукам, но признаюсь, что я и сегодня еще не вполне понимаю, как он представлял себе эту постройку башни. Чтобы стена, которая даже не замкнута в круг, а образует что-то вроде четверти или половины круга, послужила фундаментом для башни? Нет. Тут все-таки имелся в виду какой-то духовный смысл. Но тогда при чем тут стена, ведь она-то представляла собой что-то реальное, результат труда и жизни сотен тысяч людей? И для чего тогда в этой работе изображались планы башни (правда, туманные) и давались предложения (и даже детально разработанные меры) по объединению усилий народа для новой объемной работы?

Тогда вообще было много путаницы в головах (эта книга — только один пример), и, может быть, именно потому, что пытались собрать как можно больше людей для достижения одной цели. Ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и цепи, и самих себя.

Возможно, что даже и такие — направленные против строительства стены — соображения не остались неучтенными руководством при выборе схемы строительства по частям. Мы — я говорю здесь, очевидно, от имени многих — нашли себя, собственно, только в переосмысливании распоряжений высшего руководства и поняли, что без этого руководства ни нашей школьной учености, ни нашего человеческого рассудка не хватило бы для выполнения того маленького дела, которое составляло нашу часть внутри этого большого целого. В руководящем штабе — где он был к кому там сидел, этого не знал и не знает никто из тех, кого я спрашивал, — в этом штабе прокручивались, наверное, все человеческие мысли и желания, а по встречному кругу — все человеческие цели и средства. А сквозь окно на руки, чертвишие планы руководства, падал отсвет божественных миров.

И потому неподкупному свидетелю даже в голову прийти не может, что это руководство, если бы оно всерьез захотело, не смогло бы преодолеть и те затруднения, которые возникают при возведении сплошной стены. Следовательно, остается единственный вывод: руководство заранее планировало строительство по частям. Но строительство по частям являлось лишь временной мерой и было нецелесообразно. Остается сделать вывод, что руководство хотело чего-то нецелесообразного... Странный вывод!.. Разумеется, странный, и тем не менее для него имеется немало и других оснований. Сегодня об этом, наверное, уже можно говорить без опаски, а тогда тайным принципом многих — и даже лучших — было: всеми силами старайся понять распоряжения руководства, но — до некоторого известного предела; дошел — прекращай размышления. Очень разумный принцип, который, кстати, позднее часто повторяли в другой формулировке, в форме сравнения. «Прекращай размышления» не потому, что они могут тебе повредить, — это даже совсем не обязательно, что они тебе повредят, здесь вообще нельзя говорить о причинении или непрининении вреда. Но с тобой будет то же, что бывает с рекой по весне. Она вздувается, становится мощнее, обильнее питает землю вдоль своих длинных берегов, сохраняет свой собственный характер и дальше, впадая в море, и становится равноправнее с морем и приятнее ему... Вот настолько и задумывайся о распоряжениях руководства... А дальше река выходит из берегов, теряет контуры и форму, замедляет течение, пытается вопреки своему предназначению образовать в далеких от моря местностях новые маленькие моря и портит угожья, но долго удерживаться в этом разливе все равно не может, и стекает снова в свои берега, и даже плачевно пересыхает в последующее жаркое время года. Вот настолько о распоряжениях руководства не задумывайся.

Да, возможно, во время строительства стены это сравнение было исключительно точным, но его применимость к моему теперешнему отчету по меньшей мере ограничена. Ведь мое исследование лишь историческое; из давно пролетевших грозových туч уже не сверкнет молния, и поэтому я могу искать строительству по частям объяснения, выходящие за пределы, которыми ограничивались в то время. Впрочем, ограничения, которые ставит мне моя способность к размышлению, сами по себе достаточно узки, тогда как область, которую здесь надо охватить, бесконечна.

От кого должна была защитить эта великая стена? От северных народов. Я родом из Юго-Восточного Китая. Там никакой северный народ угрожать нам не может. Мы читаем о северянах в древних книгах, и жестокости, которые они творили, следуя своей натуре, заставляют нас вздыхать в наших мирных беседах. На правдивых картинах художников мы видим их проклятые лица, их разверстые пасти, их усеянные остро торчащими зубами челюсти, их суженные глаза грабителей, кажется уже искоса поглядывающие на то, что будет перемолото и растерзано жадной пастью. Когда наши дети плохо себя ведут, нам стоит только показать им эти картины — и они уже бросаются, плача, нам на шею. Но больше мы об этих северных народах ничего не знаем. Мы их не видели, и если останемся в нашей деревне, то никогда и не увидим, даже если они на своих диких конях поскачут прямо на нас, как на псовой охоте, — страна слишком велика и не допустит их до нас, они пролетят в пустоту.

Но если это так, то для чего же тогда мы оставляем родину, речку и мостик, мать и отца, плачущую жену и невыученных детей и уезжаем в школу в далекий город, а наши мысли летят еще дальше — к стене, на север? Для чего? Спрашивай у руководства. Оно знает нас. Оно, обремененное чудовищными заботами, помнит о нас, оно знает наши маленькие занятия, оно видит, как мы сидим все вместе в низких хижинах, и молитву, которую отец семейства произносит вечером в кругу своих домочадцев, оно может одобрить и может не одобрить. И если я вообще могу позволить себе такую мысль о руководстве, то я должен сказать, что, по моему мнению, это руководство существовало и раньше. Ну не может же оно, как, допустим, великий мандарин, разом прийти в возбуждение после какого-

нибудь прекрасного утреннего сна, тут же созвать заседание и тут же принять постановление, чтобы уже к вечеру население было поднято из кроватей барабанами для выполнения этого постановления, пусть даже речь идет всего лишь об устройстве какой-нибудь иллюминации в честь какого-нибудь божества, которое вчера явило свою благосклонность к этим господам, чтобы завтра, едва только будут погашены огни, настичь их в каком-нибудь темном углу и отлупить. Нет, руководство существовало уже давно, и постановление о строительстве стены — тоже. Невинные северные народы думали, что это они дали толчок к строительству, достоимый невинный император думал, что это он отдал приказ строить, но мы, имеющие отношение к стройке, видим это иначе — и молчим.

Уже тогда, во времена строительства стены, и позднее, вплоть до сегодняшнего дня, я занимался почти исключительно сравнительной историей народов (есть определенные вопросы, при рассмотрении которых только таким путем можно в каком-то смысле добраться до нерва) и в ходе этих занятий обнаружил, что мы, китайцы, имеем известные народные и государственные установления, отличающиеся уникальной ясностью, и в то же время другие — отличающиеся уникальной неясностью. Мне всегда хотелось — хочется и сейчас — почувствовать причины подобных явлений — в особенности последнего, — к тому же эти вопросы имеют существенное отношение и к строительству стены.

Ну, к наиболее неопределенным нашим установлениям, во всяком случае, относится империя. Естественно, в Пекине, особенно при дворе, в этом отношении имеется некоторая ясность, хотя и она — скорее кажущаяся, чем действительная. И учителя государственного права и истории в высших школах только делают вид, что им все известно об этих вещах и что они могут передать эти знания дальше, студентам. А чем глубже спускаешься к низшим школам, тем, понятное дело, быстрее убывает сомнение в собственных знаниях, и полуобразованность бушует, вздымаясь валами, вокруг немногих века назад незыблемо установленных научных положений, которые, правда, ничего не теряют в своем качестве вечных истин, однако в этой мгле и в этом тумане остаются вечно непонятыми.

Но как раз об отношении к империи следовало бы, по моему мнению, опросить народ, поскольку именно в нем — последняя опора империи. Впрочем, здесь я опять-таки могу говорить только о моей родине. Помимо богов полей и столь богатого разнообразием — и красивого в исполнении — служения им на протяжении всего года, наши мысли заняты только императором. Но не теперешним, или, точнее, они были бы заняты теперешним, если бы мы его знали или знали о нем что-либо определенное. Мы, правда, всегда стремились что-нибудь такое узнать (это был единственный предмет нашего любопытства), но, как ни удивительно это прозвучит, узнать что-либо было почти невозможно — ни от пилигримов, при том что они все-таки много походили по стране, ни в ближних, ни в дальних деревнях, ни на кораблях, которые ведь плавали не только по нашей речушке, но и по святым рекам. Рассказывали-то многое, но из этого многого ничего нельзя было извлечь.

Наша страна так велика, что никакой сказке не охватить ее пределов, неба едва хватает, чтобы накрыть ее, и Пекин — это лишь маленькая точка, а императорский дворец — всего лишь точка. С другой стороны, император как таковой, разумеется, велик настолько, что пронизывает все этажи мира. Однако живущий император — такой же человек, как мы, и примерно так же, как мы, лежит на какой-нибудь лежанке, которая ему хоть и богато отмерена, но при этом может быть даже узкой и короткой. Он, как и мы, иногда распрямляет члены, а если очень устает, то зевает своим нежно очерченным ртом. Но как мы можем об этом узнать, находясь за тысячи миль к югу, мы ведь там уже почти среди Тибетских гор. Кроме того, любая новость, если бы даже она до нас и дошла, пришла бы слишком поздно и была бы давно устаревшей. А вокруг императора ведь еще теснится хоть и блестящая, но темная толпа придворных — злоба и вражда в одеяниях слуг и друзей, противовес императору, постоянно стремящийся поразить его отравленными стрелами со своей чаши весов. Империя бессмертна, но отдельные императоры уходят и свергаются, и даже целые династии в конце концов приходят в упадок и с одним-единственным последним хрипом выпускают дух. Об этих битвах и страданиях народ никогда не узнаёт; как опоздавшие, как иногородние, стоят народные массы в конце переполненных боковых улочек, спокойно поедая захваченные с собой припасы, в то время как далеко впереди, в центре, на рыночной площади, совершается казнь их господина.

Есть одна легенда, которая хорошо выражает такое положение вещей. Император, говорится в ней, направил тебе, отдельному, ничтожному подданному, крохотной тени, отброшенной в отдаленнейшую даль его августейшим солнцем, — именно тебе направил император послание со своего смертного ложа. Он приказал посыльному встать возле кровати на колени и прошептал это послание ему на ухо; и это было так для него важно, что он даже приказал повторить послание ему на ухо. И кивал головой, подтверждая правильность сказанного. И на глазах у всех зрителей его смерти — а все мешающие стены были снесены, и на всех вширь и ввысь разбегающихся лестницах выстроились вокруг великие люди империи, — на глазах у них всех он отправил посыльного.

Посыльный тут же трогается в путь; это сильный, неутомимый человек; выставляя вперед то одну, то другую руку, он прокладывает себе путь через толпу; встречая сопротивление, он указывает на свою грудь, где у него знак солнца, и продвижение вперед ему дается, как никому, легко. Однако толпа слишком велика, и местам ее обитания нет конца. Если бы открылось свободное пространство, о, как бы он полетел! — он бы так полетел, что вскоре ты, наверное, услышал бы великолепные удары его кулака в твою дверь. Но вместо этого, погруженный в неустанные — и такие напрасные! — труды, он все еще протискивается сквозь парадные залы самого внутреннего из дворцов, — и никогда ему их не преодолеть, а если бы ему это и удалось, то ничего еще не было бы достигнуто, потому что пришлось бы еще пробиваться вниз по лестницам, а если бы ему и это удалось, то и тогда ничего еще не было бы достигнуто, потому что пришлось бы еще пересекать дворы, а после дворов — второй, внешний дворец, и снова — лестницы и дворы, и снова — еще один — дворец, и так далее в течение тысячелетий; а если бы он выбрался наконец за самые последние ворота — но никогда, никогда не может это произойти! — перед ним еще лежала бы вся столица — центр земли, до отказа заполненный стекающими туда со всех сторон осадками. Сквозь это уже никто не пробьется, тем более с каким-то посмертным посланием... А ты сидишь у твоего окна и, когда спускается вечер, мечтаешь о том, что в нем сказано.

Именно так — так безнадежно и с такой надеждой смотрит наш народ на императора. Народ не знает, какой император правит, и даже в отношении династии имеются сомнения. В школе изучают много похожего подряд, но общая неопределенность в этом отношении так велика, что даже лучшие ученики в ней тонут. Давно умершие императоры возводятся в наших деревнях на трон, а тот, который живет еще только в песне, недавно издал какой-то указ, который священник оглашал перед алтарем. Битвы нашей древнейшей истории разыгрываются только теперь, и сосед, сияя лицом, врывается в твой дом с известием об этом. Жены императора, раскормленные, возлежащие на шелковых подушках, отвращенные лукавыми придворными от благородных обычаев, распираемые жаждой власти, обуреваемые алчностью, распластавшиеся в похоти, снова и снова повторяют свои преступления. И чем больше времени уже минуло с

тех пор, тем жарнее горят все краски, и с громким воплем скорби деревня однажды узнаёт, как какая-то императрица, жившая тысячи лет тому назад, длинными глотками пила кровь своего мужа.

Вот в таких отношениях находится народ с прошлым, но нынешнего властителя он смешивает с мертвыми. И если когда-то, один раз за время человеческой жизни, какой-нибудь императорский чиновник, объезжая провинцию, случайно попадает в нашу деревню, предъявляет именем властвующего какие-то требования, проверяет списки податей, присутствует на занятиях в школе, расспрашивает священника о нашем поведении и потом, перед тем как сесть в свои носилки, объявляет свои выводы согнанной для этого общине, то по всем лицам пробегает улыбка, каждый украдкой смотрит на другого и наклоняется к детям, чтобы скрыть свое лицо от чиновника. Как, думают все, он говорит об умершем как о живущем, ведь этот император уже давно умер и династия его угасла, господин чиновник смеется над нами; однако, чтобы его не обидеть, мы делаем вид, что не замечаем этого. Но всерьез подчиняемся только нашему нынешнему господину, потому что поступать как-либо иначе было бы грешно. И за торопливо удаляющимися от нас носилками чиновника восстает и идет тяжелой поступью какой-нибудь произвольно поднятый из уже рассыпавшейся урны повелитель деревни.

Аналогичным образом и государственные перевороты, и современные войны, как правило, наших людей затрагивают мало. Мне вспоминается в связи с этим один эпизод из моей юности. Как-то в одной соседней, но тем не менее очень далекой провинции вспыхнуло восстание. Причин я уже не помню, но они здесь и не важны; причины для восстаний возникают там каждый день, там очень беспокойный народ. И вот однажды какой-то попрошайка, пришедший из той провинции, принес листовку повстанцев в дом моего отца. А как раз был какой-то праздник. Наши комнаты были полны гостей, и в центре сидел священник и изучал этот листок. Вдруг все начали смеяться, листок этот в толкотне разорвали, а попрошайку, который, впрочем, уже получил богатое подаяние, выгнали из комнаты в толчки; все развеселились и выбежали на воздух. Почему? Диалект соседней провинции существенно отличается от нашего, и это находит свое выражение также и в определенных формах письменной речи, которая для нас звучит несколько архаично. И как только священник прочел две такие страницы, все уже было решено: старые дела, давно было, давно отошло. И хотя — так мне это представляется в воспоминаниях — все в этом попрошайке неопровержимо говорило о самой ужасной жизни, люди смеялись, качали головами и не хотели больше ничего слушать. Вот так у нас готовы перечеркивать современность.

Если из таких явлений кто-то пожелает сделать вывод, что, в сущности, у нас вообще не было императора, он будет недалек от истины. Я должен вновь повторить: быть может, нет более верного императору народа на юге, чем наш, но эта верность для императора бесполезна. И хотя на маленькой колонне при выходе из деревни стоит священный дракон, с незапамятных времен почтительно направляя свое огненное дыхание в сторону Пекина, но сам Пекин людям в деревне намного более чужд, чем потусторонний мир. Да и есть ли в самом деле такая деревня, где бы дома, стоя вплотную друг к другу, тянулись, покрывая поля, дальше, чем хватает взгляда с нашего холма, а между этими домами днем и ночью стояли бы люди, голова к голове? Чем представить себе такой город, нам легче поверить в то, что Пекин и его император — это что-то единое, что-то вроде облака, медленно плывущего под солнцем в хороводе времени.

Ну а следствием таких воззрений является в какой-то мере свободная, никакой властью не обузданная жизнь, — нет, никоим образом не безнравственная, такой чистоты нравов, как на моей родине, я, пожалуй, нигде и не встречал в своих путешествиях, но все же — такая, которая не подчиняется никаким ныне существующим законам и следует лишь предначертаниям и предостережениям, перешедшим к нам от прежних времен.

Я остерегаюсь обобщений и не утверждаю, что так обстоят дела во всех десяти тысячах деревень — или даже во всех пятистах провинциях Китая. Тем не менее на основании многих трудов на эту тему, которые я прочел, а также на основании моих собственных наблюдений — в особенности при строительстве стены обилие человеческого материала давало способному чувствовать возможность путешествий в душах почти по всем провинциям, — на основании всего этого я могу по-видимому, сказать, что в господствующем отношении к императору везде вновь и вновь проявляется некая определенная основная черта — та же, что присутствует и в отношении к нему на моей родине. Это отношение, кстати, я вовсе не хочу представить в качестве какой-то добродетели, наоборот. Хотя в основном виновато в нем правительство, которое в старейшей империи земли до сего дня не в состоянии было — или не удосужилось, занимаясь другими делами, — довести имперские институты до такой ясности, чтобы они непосредственно и непрерывно действовали вплоть до самых дальних границ государства. Но, с другой стороны, в нем проявляется все-таки и некоторая слабость воображения или веры народа, который не созрел для того, чтобы извлечь императора из пекинского небытия и как нечто совершенно живое и насущное прижать его к своей верноподданнической груди, которая ведь ничего лучшего и не желает, как только почувствовать когда-нибудь это прикосновение и замереть в нем навеки.

Так что добродетелью такое отношение, очевидно, не является. Тем удивительнее, что именно эта слабость, похоже, является одной из важнейших основ объединения нашего народа, более того — если позволительно так далеко заходить в выражениях, — буквально почвой, на которой мы живем. Однако здесь исчерпывающе обосновать какой-то упрек — значит лишиться покоя не нашу совесть, а наши ноги, что значительно хуже. И потому я пока не хочу слишком углубляться в исследование этого вопроса.

Когда строилась Китайская стена

(Фрагменты)

И вот в этот мир ворвалось известие о строительстве стены. Оно тоже запоздало, придя лет через тридцать после объявления о начале строительства. Был летний вечер. Мы с моим отцом — мне было тогда десять лет — стояли на берегу реки. Соответственно значительности этого часто обсуждавшегося момента, я запомнил мельчайшие обстоятельства. Отец держал меня за руку — он до глубокой старости любил держать меня за руку, — а другая его рука скользила по длинной, чрезвычайно тонкой трубке, словно это была какая-то флейта. Его длинная жидкая жесткая борода торчала вперед; наслаждаясь трубкой, он смотрел вверх реки в вышину. От этого его коса — предмет восхищения детей — спускалась еще ниже, слегка шурша по расшитому золотом шелку праздничной одежды. И тут перед нами остановилась баржа; шкипер кивнул моему отцу, чтобы он спустился к воде, и сам начал подниматься по склону ему навстречу. На полпути они встретились, и шкипер прошептал что-то отцу на ухо; он даже обнял отца, чтобы совсем близко к нему подойти. Я не знал, о чем идет речь, видел только, что отец, кажется, известию не поверил; шкипер старался убедить отца в его истинности, отец все еще не мог поверить; шкипер, с матросской страстностью доказывая истинность своих слов, почти разорвал у себя на груди одежду; отец приумолк, и шкипер, ругаясь, вскочил в баржу и уплыл. Отец в задумчивости повернулся ко мне, выбил трубку, засунул ее за пояс, потрепал меня по щеке и прижал мою голову к себе. Я любил это больше всего, это переполняло меня радостью, — и так мы и пришли домой. А там на столе уже дымилась рисовая каша, и собрались гости, и как раз наливали в чашки вино. Но, не обращая на это внимания, отец прямо с порога начал пересказывать то, что он услышал. Слов его я, естественно, точно не помню, но смысл их, в силу исключительности обстоятельств, действовавших даже на ребенка, настолько врезался мне в память, что я все же беру на себя смелость воспроизвести его, так сказать, дословно. Я делаю это потому, что сказанное тогда было очень характерно для народного восприятия. Так вот, отец говорил примерно следующее. Один чужой шкипер — я знаю всех, которые обычно у нас проплывают, но этот был чужой — только что рассказал мне, что собираются строить какую-то великую стену, чтобы защитить императора. Потому что перед императорским дворцом часто собираются толпы неверующих (а среди них есть и демоны) и пускают в императора свои черные стрелы.

Стыдно сказать, на чем держится власть императорского наместника в нашем горном селении. Если бы мы захотели, его немногочисленные солдаты были бы тут же разоружены, а подкрепления, даже если бы он смог его вызвать — а как бы он это смог? — ему пришлось бы ждать днями и даже неделями. Так что он целиком зависит от нашего повиновения, но не старается добиться его ни жестокой тиранией, ни подкупающей душевностью. Почему же мы терпим его ненавистное правление? Нет никаких сомнений: только ради его взглядов. Когдаходишь в его рабочий кабинет, который столетие назад был залом совета наших старейшин, он сидит в мундире за письменным столом с пером в руке. Возвеличиваться или тем более ломать комедию он не любит, поэтому не продолжает писания, заставляя посетителя ждать, а сразу же прерывает свою работу и откидывается на спинку кресла, не выпуская, правда, пера из руки. И вот в таком положении, откинувшись назад и засунув левую руку в карман брюк, он смотрит на посетителя. Просителю кажется, что наместник видит не только его — неизвестного, на мгновение вынырнувшего из людской толпы, потому что иначе зачем наместнику так внимательно, и долго, и молча на него смотреть? К тому же это не тот острый, испытующий, сверлящий взгляд, который может быть, видимо, устремлен на отдельного человека, а небрежный, рассеянный, хотя, впрочем, и неотступный взгляд, — взгляд, которым следят, скажем, за перемещением человеческих масс где-то вдали. И этот долгий взгляд все время сопровождается какой-то неопределенной улыбкой, в которой видится то ирония, то мечтательное воспоминание..